**Язык и мышление в философии языка И.Г. Гамана**

Лобанова Л. П.

Мыслители Просвещения видели свою задачу в освобождении философии от исходных предубеждений, имеющих свое происхождение в догматике, традиции и истории. В «Критике чистого разума» Кант сформулировал условия достижения знания путем применения трансцендентального метода. При этом он подчеркивал, что опыт как таковой имеет определенные границы, как и субъективные суждения, априорные структуры которых он стремился обнаружить. Из своих основополагающих рассуждений он исключил, однако, вопрос о функции языка и его роли в мышлении. Именно это обстоятельство Гаман счел слабым местом критической философии Канта и выступил с ее критикой. Эта полемика представлена в трудах Гамана короткими статьями, фрагментами и заметками афористической окраски и остается малоизвестной не только в отечественной науке, но и за рубежом, хотя в последнее время она приобрела новую актуальность и вызывает повышенный интерес. Из этих работ можно понять взгляды Гамана на отношение языка и мышления.

Крайне резкую, даже язвительную критику Канта содержит фрагмент его сочинения «Метакритика пуризма чистого разума», которое осталось незавершенным и не публиковалось при жизни Гамана. Спустя шесть недель после начала работы над этим текстом Гаман признается Гердеру, что замысел ему «не удался», хотя вскоре в письме Якоби от 14 ноября 1784 г. он, уже гораздо более оптимистично оценивая перспективы своей «Метакритики», пишет: «[она] еще, быть может, получится лучше, чем глупое начало, о котором я по простоте сообщал нашему доброму другу Гердеру» [Hamann, 1868, 16]. Неудачное начало этого труда было связано как раз с рассмотрением отношения языка и мышления, о чем Гаман и сообщал Гердеру в письме от 6 августа 1784 г.: «Эту кость грызу я и буду грызть ее до упаду. Для меня все еще пребывает тьма над этой глубиной, все еще жду я апокалиптического ангела с ключом от этой бездны» [Hamann, 1825, 151-152].

И все же ему удалось заглянуть в эту глубину: 30 апреля 1787г., за 170 лет до выхода в свет сочинения Хайдеггера «На пути к языку» Гаман написал из Кенигсберга Якоби: «Что на твоем языке бытие, я предпочел бы называть словом» [Hamann, 1819, 357].

Философскую мысль Просвещения он доводит в своей «Метакритике» до абсурда, показывая, что двойное очищение разума, сначала от традиции, а потом и от всякого эмпирического объекта, можно будет считать завершенным только в том случае, если он в конце концов будет очищен от языка, поскольку только тогда он будет свободен от всяких предпосылок и предубеждений. «Первое очищение философии, – пишет он, – состояло ведь в отчасти недопонятой, отчасти неудавшейся попытке сделать разум независимым от всякого предания, традиции и веры в них. Второе очищение еще более трансцендентно и имеет своей целью не больше и не меньше, чем независимость от опыта и его повседневной индукции. <...> Третий, высочайший и как бы эмпирический пуризм касается еще и языка, единственного, первого и последнего органона и критерия разума без всякой иной верительной грамоты в виде предания и обычая» [Hamann, 1825, 6]. Но в таком случае, считает Гаман, и самого разума не будет. Этот вывод, сделанный в антикартезианском духе, имел своей целью показать невозможность и бессмысленность постулата о свободе от всяких предпосылок и предубеждений.

В отличие от инструменталистского взгляда на язык Гаман подчеркивает, что поскольку язык чрезвычайно тесно связан с историей, он обладает трансцендентальной функцией, лишь благодаря которой разум становится вообще возможным. Речь для Гамана – «лоно» (uterus), «Богородица (Deipara) нашего разума» [Hamann, 1824, 39]. Это он пишет в небольшой работе 1780 г. «Два шутливых опыта о новейшей немецкой литературе» и здесь же совершенно однозначно определяет роль языка: «Без языка у нас не было бы разума, без разума не было бы религии, а без этих трех важных составных частей нашей природы не было бы ни духа, ни уз общества» [Hamann, 1824, 25]. А в письме Якоби от 25 октября 1785г. подчеркивает эту мысль с новой глубиной: «Язык есть матерь разума и откровения, их альфа и омега. Он есть обоюдоострый меч для всякой истины и лжи» [Hamann, 1819, 90].

Резко критикуя рационалистов Просвещения за исходную предпосылку о независимости разума, Гаман подчеркивает, что сама эта мысль имеет исторические предпосылки и обусловленности. Он стремится показать, что язык, употребляемый философией, является не просто подручным нейтральным инструментом. Язык сам по себе есть одно из условий самой возможности понятийного мышления. Односторонний взгляд на язык, согласно которому он является просто средством выражения мыслей, основан на предположении, что мышление не зависит от говорения и предшествует говорению. Гаман отвергает такой взгляд, предлагая свое понимание, согласно которому, говорение – это перевод мыслей в слова, вещей в имена, образов в знаки, а разум есть язык. Мысль о том, что разум есть язык, Гаман повторяет при всяком удобном случае, а в уже упоминавшемся письме Гердеру от 6 августа 1784 г. пишет со ссылкой на Демосфена (намекая на то, что страдает заиканием): «Будь я даже столь же красноречив, как Демосфен, я все же должен был бы трижды повторить лишь одно единственное слово: разум есть язык, логос» [Hamann, 1825, 151].

Канта Гаман критиковал, считая его «Критику чистого разума» некритической, поскольку она расщепляет человеческое познание на различные способности и силы. Возражение Гамана против такого подхода состоит в том, что он может быть реализован лишь при условии соответствующего объективного взгляда на сущность человека, на природу его разума и на его чувственность. Но он считает такую всеобъемлющую точку зрения абсолютно недоступной и недостижимой, поскольку невозможно даже охватить полностью все предубеждения мышления, которые коренятся в истории и традиции. Гаман твердо убежден в том, о чем позже скажет Гумбольдт в своей известной формулировке: «Человек – это только человек посредством языка» [Humboldt, 1963, 11]. Такой взгляд разделял также Гердер.

Гаман отвергает всякую рационалистическую метафизику, поскольку считает ее, при строго аналитическом подходе, бессмыслицей, ученым нонсенсом, который возникает из-за злоупотребления языком. Согласно критике языка в «Метакритике» Гамана, метафизика, в отличие от языка математики, например, «преступно обращается со всеми словесными знаками и фигурами речи нашего эмпирического познания, доводя их до сплошных иероглифов и типов идеальных отношений, а честное прямодушие языка превращает этим ученым бесчинством в такое бессмысленное, текучее, непостоянное, неопределенное нечто = х, что не остается ничего кроме свиста ветра, магической игры теней, в лучшем случае, как говорит мудрый Гельвеций, – талисмана и венка из роз трансцендентальной суетной веры в entia rationis (сущности, созданные разумом. – Л.Л.), пустой трубы ее паролей» [Hamann, 1825, 8].

Ключевым суждением о «Критике чистого разума» можно считать высказывание Гамана в письме Якоби от 14 ноября 1784 г.: «Я задаюсь не столько вопросом, что есть разум, сколько вопросом, что есть язык! И здесь я подозреваю причину всех паралогизмов и антиномий, в которых обвиняют разум; отсюда получается так, что слова принимаются за понятия, а понятия – за вещи как таковые. В словах и понятиях невозможна экзистенция, которая причитается лишь предметам и вещам» [Hamann, 1868, 15].

Как Гаман отказывается разделять человеческое познание на различные силы и способности, так он отказывается также отделять мышление от языка. На это обращал особое внимание Гете: «Принцип, к которому сводятся все высказывания Гамана, сводится к следующему: ‘Что бы человек ни задумал совершить – в действиях, в словах или как-нибудь еще, – должно проистекать из объединения всех сил; разрозненное - порочно’» [Гете, 1967, 433]. Критику чистого разума он считает неосуществимой, поскольку она требует недосягаемой нейтральной позиции за пределами мышления и языка, которым оно руководствуется. Поэтому для Гамана критика разума должна быть критикой языка. В «Метакритике» он пишет, что не только вся способность мышления целиком покоится на языке, но язык есть также источник недоразумений: «Остается ведь еще один главный вопрос: как возможна способность к мышлению? <...> И нет нужды ни в какой дедукции, чтобы доказать генеалогический приоритет языка <...>. Не только вся способность мышления покоится на языке, <...> но язык есть также средоточие недоразумений разума с самим собой» [Hamann, 1825, 9]. В письме Якоби от 29 апреля 1787 г. Гаманн формулирует одну из основополагающих идей философии языка, которая вновь возникает в XX столетии у Виттгенштейна: «Разум есть источник всех истин и всех заблуждений. Он есть древо познания добра и зла. <...> Язык есть искуситель нашего ума и всегда останется таковым, пока мы не возвратимся домой, к началу и к истоку, и к незапамятности (olim)» [Hamann, 1868, 513].

Поэтому задачу своей «Метакритики» Гаман видит в том, чтобы очистить разум от его противоречий, показать, что эти противоречия заключены не в вещах, а в языке. «Все философские расхождения, – подчеркивает он в письме Гердеру от 2 июля 1787 г., – сводятся к спорам о словах» [Hamann, 1825, 360]. Требование ясности понятий Гаман предъявляет в первую очередь к философии, в которой многие термины употребляются произвольно, не имеют однозначной дефиниции и общепринятого значения, и относит этот упрек к «Критике чистого разума»: «Уже самому названию метафизика присущ этот наследственный порок и проказа двусмыслыенности, который нельзя ни устранить, ни тем более прославить, добравшись до места его рождения, которое находится в случайном синтезе греческой приставки. И даже если предположить, что для трансцендентальной топики различие между сзади и сверху еще менее важно, чем для a priori и для a posteriori различие между hysteron proteron (более ранний и более поздний. – Л.Л.), то все равно родимое пятно простирается со лба до чрева всей [этой] науки, и ее терминология так же соотносится с любым другим языком искусства, охоты, горного дела и школы, как ртуть соотносится с другими металлами» [Hamann, 1825, 7].

Источниками неоднозначности являются, с его точки зрения, спонтанность формирования понятий и восприятие сказанного: «Из этого двойного источника двусмысленности черпает чистый разум все элементы своих притязаний на правоту, поиска причин для сомнений и судейства над искусством <...>» [Hamann, 1825, 6]. Это происходит, согласно Гаману, по уже упоминавшейся выше причине: слова принимаются за понятия, а понятия – за сами вещи. Поэтому вопрос и заключается для него не столько в понимании того, что есть разум, сколько в понимании того, что есть язык. Он делает вывод, что если язык сделал возможным построение спекулятивных систем, то языковедческий анализ должен и устранять их. «Разум для меня – идеал, бытие которого я изначально предполагаю, но доказать не могу из-за призрачности явления языка и его слов. С помощью этого талисмана, – пишет он Якоби 29 апреля 1787 г. о Канте, – мой земляк воздвиг замок своей критики, и лишь только с его (талисмана. – Л.Л.) помощью чары могут быть развеяны» [Hamann, 1868, 513].

Аналитический подход требует, по мысли Гамана, прежде всего сверить значения понятий для понимания того, имеет ли смысл проблема и формулируется ли правильно задача. С эмпирической традицией Гаман соглашается в том, что если эти критерии осмысленности не соблюдены, то невозможно увидеть истинную проблему, а над псевдопроблемами не стоит ломать голову. Ключ к пониманию причины недоразумений, считает он, находится не в знании субъекта и не в знании объекта, а в отношении к постановке проблемы и объясняет свою позицию Якоби в письме от 29 апреля 1787 г.: «Не стоит больше произносить ни одного слова, пока мы не договоримся о том, что каждый понимает с помощью разума и веры, не то, что понимает Юм, ты, я и он, а то, в чем суть дела и есть ли она вообще. Общее слово – это пустой шланг, который модифицируется в каждое мгновение иначе, а если раздут, то лопается и уже вообще не может удержать в себе воздух» [Hamann, 1868, 513].

Вторая предпосылка мышления, которую Гаман видит, аналогично Гердеру, в традиции, опыте и предании, тоже связана с подвижностью лексических значений слов. «Я намереваюсь опровергнуть берлинский идеализм христианства и лютеранства с помощью исторического и физического реализма, – пишет он 25 апреля 1787 г. из Кенигберга Якоби, – опыт противопоставить чистому разуму. Как говоришь ты сам, реальное остается, идеальное скорее зависит от нас и переменчиво из-за номинализма. Наши понятия о вещах изменяются новым языком, новыми знаками, которые являют нам новые отношения» [Hamann, 1819, 341]. В своем системном подходе к лексическому составу языка Гаман предвосхищает «идею целостности, членения и структуры», о которой писал Трир как об основополагающей триаде своей теории семантического поля [Trier 1934, 432], и видит важную роль контекста и речевой ситуации для создания определенного значения слова и формирования ясного понятия. «Слова имеют свое значение, как цифры, по тому месту, где они стоят, – пишет он в 1759 г. в сочинении «Достопримечательные мысли Сократа», - а их понятия переменчивы в своих определениях и отношениях, подобно монетам, в зависимости от места и времени» [Hamann, 1821, 32].

В письме от 8 декабря 1783 г. из Кенигсберга Гаман благодарит Гердера за его моральную поддержку работы над «Метакритикой пуризма чистого разума», жалуясь, что она продвигается с большим трудом: «Моя бедная голова есть разбитый горшок против головы Канта – глина против железа» [Hamann, 1824, 365]. И здесь же пишет: «Вся болтовня о разуме есть пустой звук; язык – его орган и критерий! <...> Предание – это второй элемент» [Hamann, 1824, 365]. Эту же мысль он повторяет почти дословно в письме от 11 февраля 1785 г. военному советнику Шеффнеру [Hamann, 1825, 212], а в письме Якоби от 1 июня 1785 г. критикует лорда Монбоддо за его труд «О происхождении и развитии языка» [Monboddo, 1774]: «Сплошные элементы для метакритики разума, о котором я не имею никакого понятия без опыта и предания» [Hamann, 1819, 54]. Несколько месяцев спустя Гаман вновь подчеркивает роль традиции и предания для формирования разума в письме Якоби от 25 октября 1785г.: «С Гердером я совершенно согласен в том, что весь наш разум и вся философия сводятся к традиции и преданию» [Hamann, 1819, 90].

В середине XVIII века Берлинская академия наук объявляла целую серию конкурсных тем научных сочинений, за которые назначались премии и которые касались, в частности, языка. В их числе в 1757 году была опубликована и тема: «Каково возвратное влияние мнений людей на язык и языка на мнения?», вызвавшая критическую реакцию Гамана. Премия за лучшее исследование на эту тему была присуждена профессору философии Геттингенского университета Иоганну Давиду Михаэлису 31 мая 1759 года.

Берлинская академия наук поясняла постановку задачи такого научного исследования следующим образом: «Важно при этом, чтобы на различных хорошо отобранных примерах было показано: 1) Сколько существует в языках причудливых оборотов и выражений, с очевидностью проистекающих из определенных, усвоенных этими народами мнений, откуда и получили свое происхождение такие языки. Этот первый пункт является, вероятно, самым легким. 2) Самое важное состоит в том, чтобы в определенных, присущих каждому из языков оборотах речи, в определенных выражениях, вплоть до корней определенных слов, показать происхождение тех или иных заблуждений или препятствий, отчего та или иная истина не находит своего выражения. Если обнаружится, каким образом умственный импульс формирует язык и этот язык вслед за этим дает образу мыслей направление, способствующее или препятствующее восприятию верных идей, то можно было бы вести поиск целесообразных средств для исправления недостатков языков» [Briefe, 1779, 367-368]. Такое двоякое рассмотрение привело бы к важным познавательным выводам. Если обнаружится, каким образом умственный импульс формирует язык и этот язык вслед за этим дает образу мыслей направление, способствующее или препятствующее восприятию верных идей, то можно было бы вести поиск целесообразных средств для исправления недостатков языков. Собственно, поиск здесь должен был быть направлен на обнаружение тех влияний на язык, которые рассматриваются как «недостатки» или «неправильности» самого языка, создающие препятствия к просвещению и способствующие формированию частично «неверного» языкового сознания. Если обнаружить такие особенности языка, то можно продумать пути и способы их преодоления.

Постановка задачи не предполагала объяснение препятствий, обуславливающих трудное или легкое вхождение некоторых истин в язык того или иного народа. Речь шла о препятствиях к изъяснению той или иной истины. Из этого следует, что составитель задания предполагал, что препятствием к изъяснению той или иной истины или, скорее, причиной того, что в каких-то языках не представлены какие-то истины, служат некоторые обороты речи в этих языках. Это фактически означает, что речь шла о создании метода описания языковой картины мира в ее лексической части: авторы конкурса имеют своей отправной точкой именно различия в языковых картинах мира, поскольку речь идет об оборотах и выражениях, возникших из определенных воззрений, привычных для народов, образовавших тот или иной язык.

Михаэлис требования Академии выполнил, за исключением последнего пункта: он ни одним словом не коснулся вопроса о препятствиях к выражению тех или иных истин. Из того факта, что его работе была присуждена первая премия, становится понятно, что Академия имела своей целью лишь показать некоторые перспективы дальнейших исследований, не настаивая на выполнении поставленной задачи в полноте. Его труд, хотя и свидетельствовавший об обширности познаний автора, не занял заметного места в языкознании и был бы, по всей вероятности, забыт, если бы он не привел косвенным образом к весьма значительному достижению в науке о языке: Михаэлису возразил Гаман, а позже и Гердер, который прочитал это сочинение в 1766 или 1767 гг. предположительно по рекомендации Гамана.

Рассмотрение трактата Михаэлиса, который сводит свое исследование к лексико-семантическому сопоставительному анализу на примере переводных эквивалентов полисемантичных слов, не входит здесь в нашу задачу, поэтому мы приведем лишь один пример для понимания характера его рассуждения: «Порою влияет также какая-нибудь еще скрытая побочная идея или другое значение слова, в котором оно нам на этот раз не нужно, и обманывает нас тайным образом. Поэтому мы счастливы, если имеем такое совершенное срединное слово, к которому даже в противоположном значении не примыкает похвала или порицание. Я хочу пояснить это примером, который дает повод сделать комплимент моему родному языку из-за его преимуществ в сравнении с латинским. Самое первое или, если угодно, самое последнее благо, причину, по которой что-либо почитается благом, Эпикур полагал в приятном ощущении, voluptate. Это латинское слово, которое обозначало также «[сладострастное] наслаждение», сохраняло примыкающую идею изнеженности, которая противополагалась добродетели и отваге. Кто усомнится в том, что учение Эпикура многим римлянам лишь по вине языка должно было казаться неправильным, даже ненавистным и в высшей степени отвратительным? Проповеди Цицерона против Эпикура, исполненные игры слов и гомилетических доводов, являются тому доказательством. Латинянину ведь при употреблении voluptas постоянно приходило на ум «[сладострастное] наслаждение» (нем. Wollust. – Л.Л.). – Наш язык обошелся бы гораздо лучшим выражением «приятное ощущение» (нем. angenehme Empfindung. – Л.Л.)» [Briefe, 1779, 373-374]. В оправдание Эпикуру Михаэлис заключает: «Римский оратор несправедливо обходился с Эпикуром, защиту которого я в остальном на себя не беру и охотно признаю, что он или его ученики по вине двусмысленного слова порою путали сладострастное наслаждение с приятным ощущением» [Briefe, 1779, 375].

Из этого видно, что рассуждение Михаэлиса носит вполне конъюнктурный характер (косвенным подтверждением чему служит и первая премия, хотя справедливости ради следует заметить, что никто из других претендентов не представил сколько-нибудь значительное сочинение): проблема полисемии была одним из основных аргументов сторонников исправления языка в разные эпохи, и Просвещение не было исключением.

Гаман, который отозвался на труд Михаэлиса работой под названием «Опыт по одному академическому вопросу» (Versuch über eine akademische Frage), видел в его трактате недостатки по той же причине, по которой он впоследствии выступил с критикой Канта: и в том, и в другом сочинении отсутствовало рассмотрение трансцендентальной роли языка. Заметим, что Гаман прибегал в своей полемике с Михаэлисом к лингвистическому анализу в очень современном смысле, но эта полемика, кроме того, представляет интерес также по той причине, что сама тема конкурсного сочинения Михаэлиса связана с установлением и изучением особенностей языковой картины мира с целью разработки методов ее изменения. Прежде всего, Гаман указывает на то, что постановка вопроса о взаимовлиянии мнений и языка требовала предварительных пояснений, которые не были даны. Он намерен восполнить этот недостаток и сделать исследование Михаэлиса и постановку вопроса более понятными для «простого» читателя, предложив некоторые разъяснения.

Во-первых, он считает необходимым уточнить понятия «мнения», «язык» и «влияние», лежащие в основе исследования. С точки зрения Гамана, значение слова «мнения» в употреблении Михаэлиса неясно, так как в его сочинении мнения «то приравниваются к истинам, то противопоставляются им» [Hamann, 1821, 120], однако Гаманн только констатирует этот факт, но не предлагает своей дефиниции.

Слово «язык» очень многозначно, подчеркивает Гаман, сам же фактически приравнивает понятие «язык» к языковой картине мира, указывая на связь языка и мышления, или имеет в виду высказывания. Он пишет: «Отношение и связь между способностью нашей души к познанию и способностью нашего тела к обозначению является довольно часто встречающимся представлением, характер и границы их изучались, однако, пока мало», а далее высказывает, по сути, мысль о существовании типологического ядра в картинах мира разных языков, указывая на то, что «должны поэтому существовать сходства во всех человеческих языках, основанные на идентичности нашей природы и сходствах, необходимым образом существующих в обществе в узком кругу понятий» [Hamann, 1821, 121].

Слово «влияние» в постановке задачи содержит в себе, согласно Гаману, изначальную предпосылку, которая «не пришлась бы по вкусу ни лейбницианцу, ни академисту. Первый сказал бы, возможно, «гармония», а сомневающийся слишком осторожен, чтобы принять на веру воздействие вещей друг на друга из-за их простой связи между собой, поскольку слишком часто бывает один и тот же язык при противоположных мнениях и наоборот» [Hamann, 1821, 121-122].

Здесь мы сделаем небольшое отступление, приведя комментарий Гамана к этому слову, чтобы коснуться характерной манеры язвительной критики, к которой он прибегает не только в «Метакритике», но и во многих других сочинениях: «Я, впрочем, охотно соглашусь с этим выражением, – пишет он, – поскольку думаю даже, что какой-нибудь автор с помощью тихого влияния на мнения и на язык ученого цеха может воздействовать на большинство голосов, исследование чего, однако, относится к казуистике и алгебре удач» [Hamann, 1821, 122]. Язвительность Гамана едва ли имеет своим основанием процедуру или даже результат голосования в Академии при определении победителя конкурса. Возможно, она объясняется его религиозными убеждениями, противоречие которым он нашел в сочинении Михаэлиса: «Опыт по одному академическому вопросу» был помещен в сборнике под названием «Крестовые походы филолога», на титульном листе которого был изображен козлиный профиль Пана с рогами. Нельзя исключить и свойственную Гаману склонность к критической реакции на труды своих коллег, даже самых близких ему людей, как это было, например, с «Трактатом о происхождении языка» его друга Гердера. Об этом подробно пишет Гегель в работе «О сочинениях Гамана», подчеркивая в частности: «Это общая, но отнюдь не благожелательная черта: Гаман бывает так возбужден именно публикациями своих лучших друзей, набрасываясь на них в сочинениях, которые, даже будучи предназначенными к печати, исполнены, по его обычной манере, страстной горячности и издевки и даже не лишены того, чтобы восприниматься как злая насмешка и обида» [Гегель, 1835, 68].

Чтобы раскрыть разные стороны смысла академической задачи, Гаман подразделяет ее на три положения, которые позволяют, с его точки зрения, лучше разобраться в ней и составить более правильное суждение.

Положение 1. «Природный способ мышления оказывает влияние на язык» [Hamann, 1821, 122]. Мысль Гамана состоит в том, что все огромное многообразие наблюдений и фактов всемирной истории, исторического развития отдельных народов и более мелких общностей (сословий, сект, групп и отдельных людей), данные сопоставительного изучения нескольких языков и развития какого-либо одного языка в разное время и при разных обстоятельствах можно свести к простым принципам и составить классификацию. «Если наши представления, – пишет он, – направляются точкой зрения души, а она (точка зрения. – Л.Л.) определяется, по мнению многих, положением тела, то нечто подобное можно применить к телу целого народа» [Hamann, 1821, 122-123]. Это понимается так, что направление развития языка народа согласуется с его способом мышления, с направлениями его мысли. Народ обнаруживает присущий ему способ мышления не только во внешних формах организации своей жизни, в своих законах, обычаях и т.п., но и в характере, формах, законах и обычаях (под которыми Гаман понимает практику употребления) своего языка. Тем обстоятельством, что язык формируется согласно направлению мысли, объясняются идиоматические особенности, сравнительное богатство и одновременно сравнительная бедность одного и того же языка в той или иной его части, что заставляет расценивать разные языковые явления то как его совершенство, то как несовершенство и т.п. Все это неповторимое своеобразие и составляет, согласно Гаману, то, что понимают под гением языка. При таком рассуждении гений языка и есть, по сути, способ мышления народа, если «направленность внимания и предметы, на которые оно обращено, могут расширять или ограничивать язык народа и придавать ему тот или иной вид» [Hamann, 1821, 125].

Положение 2. «Модные истины, предубеждения внешней видимости и авторитетности, циркулирующие в народе, создают как бы искусственный и случайный способ мышления народа и оказывают особое влияние на его язык» [Hamann, 1821, 125]. Гаман приводит примеры такого рода влияний на немецкий язык и дает прогностическую оценку того развития языка, которое может быть ими обусловлено: «Видимость математической учености и привлекательность французских и английских писателей вызвали у нас большие изменения противоположного характера. Настоящей удачей для нашего языка стало то, что эта мания перевода и мания демонстрирования словно бы ставили преграду друг другу; последняя превратила бы его в венок из роз считанных искусственных слов, а первая – в сеть, которая улавливала бы и удерживала добрых и худых рыб разного рода» [Hamann, 1821, 125].

При исследовании влияния мнений на язык необходимо, по мысли Гамана, принимать во внимание фактор двоякой обусловленности способа мышления: мнения влияют на способ мышления, способ мышления формирует язык. Мнения он подразделяет на два вида. Мнения первого вида составляют неподвижный способ мышления народа, а мнения второго рода – подвижный способ мышления. Неподвижный способ мышления можно считать, с точки зрения Гамана, древнейшим, а подвижный – новейшим. Для иллюстрации этой мысли Гаман приводит историю шляпы в баснях Геллерта, а также учение врачей о теле человека, которое претерпевает определенные изменения в течение короткого цикла в несколько лет и все же остается тем же самым, и так повторяется на протяжении всей земной жизни человека от зачатия до тления. Из рассуждения Гамана остается, правда, непонятным, приравнивает ли он неподвижный способ мышления к коренному, а подвижный – к навеянному духом времени.

Положение 3. «Сфера языка простирается от складывания букв до шедевров поэтического искусства и тончайшей философии, эстетического вкуса и критики; характер языка приходится отчасти на выбор слов, отчасти на образование оборотов речи» [Hamann, 1821, 127]. В силу многозначности слова «язык» Гаман говорит о необходимости дефиниции и предлагает при этом исходить из коммуникативной функции языка и определять его, в зависимости от цели коммуникации, как средство сообщения наших мыслей и как средство понимания мыслей других. Коммуникативной функции языка Гаман придавал большое значение, считая общительность сущностным признаком языка и разума. В письме Якоби из Кенигберга он пишет 25 апреля 1787: «Разум невидим, [он] без языка; но, конечно, язык есть единственное выражение души и сердца для раскрытия и сообщения нашего сокровенного» [Hamann, 1819, 349], и добавляет спустя пять дней: «Общительность есть истинный принцип разума и языка, посредством которых модифицируются наши ощущения и представления» [Hamann, 1819, 356].

Эту двоякую направленность коммуникации, сообщение своих мыслей и понимание мыслей других, Гаман называет «двойным намерением» и кладет ее в основу понимания задачи, поставленной Академией наук: «Отношение языка к этому двойному намерению стало бы, таким образом, основной теорией, из которой явления взаимовлияния мнений и языка можно было бы как объяснить, так и считать заранее заданными» [Hamann, 1821, 127].

Вводя понятие «отношение языка к двойному намерению», Гаман считает, что он дает тем самым ключ к решению задачи. Он не берется сам разрешить этот вопрос, поскольку, во-первых, сомневается в наличии читательского интереса к разработке проблемы отношения языка к двойному намерению, а во-вторых, не ожидает от суждения читателей ничего «ни для своего имени, ни для своего кошелька». Вместе с тем он высказывает уверенность в возможности дать ответ на поставленный Академией вопрос, исходя из этого понятия. Со ссылкой на Аристотеля (Республика, кн.2, гл.10) он пишет: «У нас нет недостатка в наблюдениях, с помощью которых можно довольно точно определить отношение языка к его попеременному употреблению. Уразумение этого отношения и умение применять его имеет также касательство к духу законов и к тайнам правительства» [Hamann, 1821, 129].

Продолжая рассуждать о роли этого отношения в общественной жизни, Гаманн причисляет его изучение к задачам государственной важности в условиях развития немецкого языка его времени. «Бесчинство смешения языков», под которым он подразумевает все еще характерную для тогдашней Германии франкофонию в научной речи, употребление многочисленных заимствований в немецком языке и отсутствие осмысленной языковой политики в отношении родного языка, является «делом государственным, которое в царстве истины имеет бόльшее значение, чем самый сочный свежевырытый корень какого-либо слова или бесконечная генеалогия какого-либо понятия» [Hamann, 1821, 130].

В интересах развития и совершенствования не только языка, но и мышления необходимо переходить к употреблению немецкого языка во всех сферах жизни, считает Гаман, и поясняет это следующим образом: «Каждый язык требует способа мышления и вкуса, составляющих его своеобразие: поэтому хвастался Энний, что имеет тройное сердце, почти как Монтень, который хвастался своей душой в три этажа. <...> Кто пишет на иностранном языке, тот должен уметь, как любовник, приноравливать свой способ мышления. Кто пишет на своем родном языке, тот имеет домашнее право супруга, если он им владеет. Голова, которая думает за свой счет, всегда будет совершать вмешательства в язык; автор же, пишущий на счет товарищества, довольствуется предписанными ему словами, как поэт по найму – конечными рифмами (bouts-rimés), вводящими его в колею тех мыслей и мнений, которые приходятся кстати» [Hamann, 1821, 130-131].

Убежденность Гамана в том, что критика языка является метакритикой разума, или, в иной формулировке, критикой знания, – это тот аспект его философии языка, который представляет большой интерес для современной науки. При этом следует признать, что для Гамана характерно специфическое сочетание религиозной мысли и аналитического подхода в методологии, как, впрочем, и для всех мыслителей, которые рассматривали философию как критику языка. Гаманн никогда не исследует никакую проблему философии языка изолированно от контекста своей религиозной мысли, которая у него и сама по себе есть языковое мышление. Это в полной мере относится и к позиции Гамана в развернувшейся в середине XVIII в. дискуссии вокруг вопроса о происхождении языка.

В 1746 г. Этьен Бонно де Кондильяк дал на него свой ответ, выдвинув естественную теорию в «Опыте о происхождении человеческих знаний», который он рассматривал как дополнение к «Опыту о человеческом разумении» Дж. Локка (1690). Пьер Луи Моро де Мопертюи, который был по назначению Фридриха II президентом Берлинской академии наук с 1746 по 1759 гг., опубликовал два сочинения – в 1748 г. «Философские рассуждения о происхождении языка и значениях слов» [Maupertuis, 1768, 259-285], а в 1754 г. «Рассуждение о различных средствах, которыми пользуются люди для выражения мыслей» [Maupertuis, 1756, 349-364], в которых опровергал теории Божественного происхождения языка, выдвинув гипотезу, что язык был изобретен человеком. С критикой трактата Мопертюи «Философские рассуждения о происхождении языка и значениях слов» выступил Иоганн Петер Зюсмильх. В докладе под названием «Попытка доказательства, что первый язык получил свое происхождение не от человека, но единственно от Творца», прочитанном в Берлинской академии наук в 1756 г. и опубликованном лишь спустя десять лет [Süssmilch, 1856], Зюсмильх утверждает, что для успешной дифференциации феноменов окружающего мира мышление нуждается в языке. Без языковых обозначений умственные понятия словно сливались бы друг с другом, и ни одно понятие невозможно было бы помыслить хоть сколько-нибудь ясно, «не мысля одновременно и все другие, с ним связанные» [Süssmilch, 1866, 68]. В его понимании язык предшествует мышлению и является условием мышления. Если бы человек сам себя обучил языку, то для этого – и в этом заключен парадокс – он должен был бы уже обладать разумом, а этот разум возможен только благодаря языку и т.д. Выход из этого заколдованного круга Зюсмильх видит в Божественном происхождении языка.

Эти дискуссии о происхождении языка не носили характера исторического исследования, они затрагивали, скорее, вопрос о сущности языка и исходили, собственно, из независимости мышления от языка. Интерес философов Просвещения к философии языка имел столь ярко выраженную практическую направленность, что они фактически игнорировали вопросы более фундаментального характера, касающиеся отношения языка и мышления. Можно думать, что обсуждение вопроса о происхождении языка скорее просто подтолкнуло Гамана к рассмотрению трансцендентальной функции языка, ничего не добавив к его концепции. Гаманн, по сути, не участвовал в рассмотрении происхождения языка в смысле его самого раннего появления в истории человечества. В «Двух рецензиях касательно происхождения языка» [Hamann, 1823, 1-11], представлявших собой краткий обзор трактата Гердера о происхождении языка, а также в иронично-пренебрежительном ответе на рецензию, опубликованную в 26-м номере «Кенигсбергской ученой и политической газеты» за 1772 г. [Hamann, 1823, 12-21], Гаман не занимает ни одну из сторон. Он не согласен с теорией Божественного происхождения языка Зюсмильха, согласно которой Бог дал человеку язык в готовом виде и научил его пользоваться им. В то же время он отвергает рациональные и эмпирические теории, которые сводят происхождение языка к договоренности между людьми.

Теории, предполагавшие, что мышление предшествует языку, для Гамана неприемлемы. Он подвергает критике даже более умеренный тезис своего друга Гердера, согласно которому язык мог быть изобретен и даже должен был быть изобретен, поскольку сама эта возможность заключена в природе человека. Хотя сам Гаман не представил полностью разработанной теории языка, его взгляд на происхождение языка вполне понятен. Он считает, что язык имеет нераздельную Божественную и человеческую природу одновременно, и убежден в том, что Бог создал человека вместе с языком. Это означает, что в теологически-логоцентрическом понимании Гамана язык есть первичный принцип: «генеалогический приоритет языка» уже содержит в себе разум, всякое говорение – уже мышление и наоборот. Очень важным здесь представляется изучение переписки Гамана и Якоби, которая может и дополнить, и прояснить мысли Гамана о языке, в частности, его утверждение, что разум есть язык, т.е. логос.

**Список литературы**

1. Гете И.В. Из моей жизни. Поэзия и правда // Гете И.В. Собр. соч. в 10 томах. Т. 3. – М.: Художественная литература, 1976.

2. Briefe, die neueste Litteratur betreffend. Vierter Theil. – Berlin und Stettin: bei Friedrich Nikolai, 1779.

3. Hamann J.G. Beylage zum 37sten Stück der Königsbergschen gelehrten und politischen Zeitung. 1772. Abfertigung der im sechs und zwanzigsten Stück enthaltenen Recension // Hamann’ Schriften. Hrsg. von Friedrich Roth. Vierter Theil. – Berlin, G. Reimer, 1823.

4. Hamann J.G. Briefe von 1779 bis 1784 // Hamanns Schriften. Hrsg. von Friedrich Roth. Sechster Theil. – Berlin: G. Reimer, 1824.

5. Hamann J.G. Briefe von 1784 bis 1788 // Hamanns Schriften. Hrsg. von Friedrich Roth. Siebenter Theil. – Berlin: G. Reimer, 1825.

6. Hamann J.G. Briefwechsel mit F. H. Jacobi. Hrsg. von Friedrich Roth // Friedrich Heinrich Jacobi’s Werke. Vierter Band. Dritte Abtheilung. – Leipzig: Gerhard Fleischer, 1819.

7. Hamann J.G. Briefwechsel mit Friedrich Heinrich Jacobi // Johann Georg Hamann’s, des Magus im Norden, Leben und Schriften. Von C.H. Gildemeister. Fünfter Band. – Gotha: Perthes, 1868.

8. Hamann J.G. Fauete linguis! // Hamann’ Schriften. Hrsg. von Friedrich Roth. Vierter Theil. – Berlin, G. Reimer, 1823.

9. Hamann J.G. Metakritik über den Purismus der reinen Vernunft // Hamanns Schriften. Hrsg. von Friedrich Roth. Siebenter Theil. – Berlin: G. Reimer, 1825.

10. Hamann J.G. Sokratische Denkwürdigkeiten // Hamanns Schriften. Hrsg. von Friedrich Roth. Zweiter Theil. – Berlin: G. Reimer, 1821.

11. Hamann J.G. Versuch über eine akademische Frage // Hamann’s Schriften. Hrsg. von F. Roth. Zweiter Theil. – Berlin: G. Reimer, 1821.

12. Hamann J.G. Zwei Scherzlein zur neuesten Deutschen Literatur // Hamanns Schriften. Hrsg. von Friedrich Roth. Sechster Theil. – Berlin: G. Reimer, 1824.

13. Hamann J.G. Zwo Recensionen betreffend den Ursprung der Sprache // Hamann’ Schriften. Hrsg. von Friedrich Roth. Vierter Theil. – Berlin, G. Reimer, 1823.

14. Hegel, G. W. F. Über Hamann’s Schriften // Hegel, G. W. F. Vermischte Schriften. Zweiter Band. Hrsg. Friedrich Förster und Ludwig Boumann. – Berlin: Verlag von Duncker und Humblot, 1835.

15. Humboldt W. von. Über das vergleichende Sprachstudium in Beziehung auf die verschiedenen Epochen der Sprachentwicklung // Wilhelm von Humboldt. Werke in fünf Bänden. Hrsg. von Andreas Flitner und Klaus Giel. Band 3. – Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1963.

16. Maupertuis, Pierre Louis Moreau de. Dissertation sur les différents moyens dont les hommes se sont servis pour exprimer leurs idées. Berlin // Histoire de l'Academie Royale des Sciences et Belles-Lettres. 1754. – Berlin, 1756. – S.349-364.

17. Maupertuis, Pierre Louis Moreau de. Réflexions philosophiques sur l'origine des langues et la signification des mots // Oevres de Maupertuis. Nouvelle Édition corrigée & augmentée. Tome Premier. – A Lyon, chez Jean-Marie Bruyset, Imprimeur-Libraire, rue S. Dominique, 1768. – P. 259-285.

18. Michaelis J.D. Beantwortung der Frage von dem Einfluß der Meinungen eines Volcks in seine Sprache und der Sprache in die Meinungen. – Berlin, 1760.

19. Monboddo, James Burnett (Lord). Of the Origin and Progress of Language. 6 vols. Printed for J. Balfour, Edinburgh; and T. Cadell, in the Strand, London, 1774.

20. Süßmilch, Johann Peter. Versuch eines Beweises, daß die erste Sprache ihren Ursprung nicht vom Menschen, sondern allein vom Schöpfer erhalten habe. – Berlin, 1756.

21. Trier J. Das sprachliche Feld. / Neue Jahrbücher für Wissenschaft und Jugendbildung, 1934, Nr.10, S.428-449.